

построил церковь? («Корсуняне подкопавше стену градскую крадяху сыплемую персть и ношаху себе в град, сыплюще посреде града и войны Владимировы присыпаху более». Нестор). — Может, великий князь стоял на том самом месте, где я теперь, между Песочной и Стрелецкой бухты».⁶

Эти рецидивы летописного образа мыслей и стиля были неслучайны: они возникли в трудные, грозные для страны и народа годы, когда роль «случая» казалась всесильной, а попытки понять или хотя бы «угадать» ход истории терпели неудачу. Понятно, что в такие моменты литература — и именно передовая, не потерявшая связи с народной жизнью и историей, — тянется к эпосу и находит его в фольклоре и в летописи.⁷ Пушкин задумал трагедию о «Смутном» времени накануне новых смут, когда народ, недавно добившийся победы над страшным врагом, был опять унижен и придавлен царским самовластьем. И силою вещей получилось так, что трагедия, по своей структуре и «образу мыслей», оказалась ближе к эпосу, чем к драме, — чем-то вроде драматизированной эпопеи с Пименом в роли летописца-повествователя: действие трагедии оказывается прямым продолжением записанного Пименом «последнего сказанья» (или по черновому тексту — «ужасного преданья») об убиении царевича Дмитрия.

Тридцатые и сороковые годы не внесли ничего значительного или нового в русскую историографию и историческую «словесность»: это были годы развития не столько исторического, сколько философского мышления. Русская историческая наука как бы замерла на Карамзине. Картина стала меняться к концу сороковых годов: из полемики западников со славянофилами, отражавшей назревшие социальные и политические потребности эпохи, возникла новая научная историография, которую возглавил С. М. Соловьев: в 1851 г. вышел первый том его «Истории России с древнейших времен». Это была грандиозная по объему (29 томов) попытка понять и истолковать весь процесс образования и развития русского государства как процесс последовательный и закономерный — как разумное развитие государственного начала.

Между тем к середине пятидесятих годов, после тридцатилетнего трагического затишья, Россия вступила в новую полосу бурь и потрясений. Крымская война сразу обнаружила крайнюю степень морального разложения правящих классов и материальную отсталость, до которой дошла страна за время николаевского царствования. У солдат не было ни достаточного вооружения, ни достаточной одежды и питания, ни уверенности в победе. «Дух войска в настоящую минуту, — смело писал главнокомандующему молодой подпоручик артиллерии Лев Толстой, — есть грустное сомнение в возможности отстоять Севастополь, преданности воле провидения, но не энтузиазм героев, который один может спасти нас».⁸ Проехав на позиции и увидев собственными глазами весь ужас положения, Толстой записал в дневнике (23 ноября 1854 г.): «В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться». После смерти Николая I, в день присяги новому царю (1 марта 1855 г.), Толстой записал: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России».

⁶ Там же, стр. 438

⁷ А. С. Пушкин писал о Петровском времени: «В общем презрении ко всему старому, народному, была включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках и в летописях» (Полное собрание сочинений в 10 томах т. VII, стр. 649)

⁸ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч. т. 4, М., 1932, стр. 295